

«Шепот, робкое дыханье, трели соловья...», «Сияла ночь, луной был полон сад...», «На заре ты ее не буди...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Уж верба вся пушистая...», «Зреет рожь над жаркой нивой...», «Это утро, радость эта...»...

Стихи живут, дышат, благоухают, переливаются радужным полноцветьем, трепещут, как взволнованное сердце.

*Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна.*

*Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.*

(«Чудная картина...», <1842>)

Как знакомо, как близко русскому сердцу, как тепло на душе. И все это — Афанасий Афанасиевич Фет (1820—1892).

За краткой, как сдержанный вздох, фамилией Фет — много неразгаданных тайн: загадки его рождения и происхождения, любви и трагической гибели его возлюбленной, секрет неизменного чувства к ней до последних дней жизни поэта.

На его могиле в селе Клейменово Орловской области значится фамилия Фет-Шеншин. Двойная фамилия, двойственная жизнь, раздвоившаяся судьба: автор поэтических шедевров и помещик, рачительный хозяин нескольких имений; бедняк и богач; безродный иностранец-разночинец и знатный русский дворянин; проникновенный лирик и уездный мировой судья; влюбленный, до конца дней своих сердцем преданный погибшей от любви к нему девушке, и муж своей супруги в безлюбовном браке. И все это — тоже Фет.

Как писал Алексей Жемчужников в стихотворении на смерть поэта:

Искупают прозу Шенишина

Стихи пленительные Фета. («Памяти Шеншина-Фета», 1892)

Когда Фету было под семьдесят и, говоря его же словами, уже светили «вечерние огни», родилось это потрясающее признание:

Нет, я не изменил. До старости глубокой

Я тот же преданный, я раб твоей любви,

И старый яд цепей, отрадный и жестокой,

Еще горит в моей крови.

Хоть память и твердит, что между нас могила,

Хоть каждый день бреду томительно к другой,—

Не в силах верить я, чтоб ты меня забыла,

Когда ты здесь, передо мной. («Нет, я не изменил...», 1887).

Этим стихам более 125 лет, но до сих пор они изумляют поэтическим выражением неувядающей, по-юношески пламенной силы любви, преодолевающей все, что может разъединить людей,— время и саму смерть.

Обращаясь к давно ушедшей из жизни возлюбленной, как к живой, поэт утверждает:

Ты душою младенческой все поняла,

Что мне высказать тайная сила дала,

И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить,

Но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить. («Alter ego», 1878)

Это строки из стихотворения «Alter ego», что в переводе с латыни означает «второе я». Так древние римляне называли самых дорогих и близких им людей. Своим «вторым я», своей «второй половиной» — как говорят в русском народе — Фет считал девушку, которую встретил и потерял еще в годы своей молодости, но не смог забыть и «до старости глубокой»:

Та трава, что вдали, на могиле твоей,

Здесь, на сердце, чем старше оно, тем свежей («Alter ego»)

«Жизнь моя,— признавался поэт,— самый сложный роман».

Видений пестрых вереница

Встает, усталый теша взгляд,

*И неразгаданные лица
Из пепла серого глядят...* («У камина», 1856)

Художественная образность стихотворения «У камина» очень характерна для фетовской лирики. Поэта мистически завораживал открытый огонь, будь то пылающий камин, раскаленная печь, полыхающий костер, дрожащее пламя свечи, трепетное мерцание лампадки, жгучий луч солнца или замирающий огонек:

*Тускнеют угли. В полумраке
Прозрачный вьется огонек.
Так плещет на багряном маке
Крылом лазурный мотылек.*

Почему же снова и снова до последних мгновений жизни и поэтического творчества Фета притягивали, не отпускали, мотивы и образы, связанные с огнем? Не вызвала ли их трагическая кончина его возлюбленной, которая сгорела заживо, — жизнь свою возложила на огненный жертвенник любви?

*Встает ласкательно
и дружно
Былое счастье и печаль,
И лжет душа, что ей
не нужно
Всего, чего глубоко жаль.*

На исходе было палящее, испепеляющее лето 1848 года. Афанасий Фет служил в кирасирском полку, расквартированном на границе Киевской и Херсонской губерний. Военное окружение, жизнь среди «скалозубов и виев» в украинской степной глуши тяготили поэта: «лезут разные гоголевские Вии на глаза, да еще нужно улыбаться».

Однообразие служебных будней скрашивало только знакомство с местными помещиками — потомками поляков и австро-венгерских сербов, поселившихся в Малороссии еще в XVIII веке — в царствование Екатерины II. Образованные дворяне знали Фета не только как офицера, но и ценили как поэта. Его приглашали на балы и любительские спектакли. Позднее он вспоминал: «Такое настойчивое приглашение не могло не быть лестно для заброшенного в дальний край одинокого бедного юноши». Одиночество Фета вскоре было нарушено.

В гостеприимном богатом доме бывшего офицера Орденского полка М. И. Петковича давали бал. Легкие светлые стайки барышень, вальсирующих с офицерами, порхали по залу. В больших зеркалах дрожали огоньки свечей, таинственно искрились и мерцали драгоцен-

ные уборы дам. И вдруг — будто вспышка молнии сверкнула: невдалеке от танцующих Фет заметил стройную девушку, которая выделялась среди других особенно яркой южнославянской красотой, высоким ростом, природной грацией. Сквозь смуглую кожу просвечивал нежный румянец, необычайна была роскошь ее черных с иссиня-сизым отливом волос. Сдержанная, строгая, она не принимала участия в шумном веселье бала, напоминала чем-то пушкинскую Татьяну:

*Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.*

Впоследствии, деликатно оберегая память о доверившейся ему девушке, делая неприкосновенной тайной само ее имя, Фет в своих воспоминаниях дал ей фамилию героини «Евгения Онегина» — Ларина. И придумал другое имя — Елена, m-lle Helen. «Душа моя замирала при мысли, что может возникнуть какой-нибудь неуместный разговор об особе, защищать которую я не мог, не ставя ее в ничем не заслуженный неблагоприятный свет», — вспоминал поэт. «Мадемуазель Элен» в действительности звали Марией Лазич.

При первой встрече Фет с замирающим сердцем попросил представить его незнакомке, поразившей поэтическое воображение. Отныне, как идеальной прекрасной даме для рыцаря, как Беатриче для Данте, Лауре для Петрарки, «смуглой леди» для Шекспира, Марии Лазич предстояло стать единственной героиней фетовской любовной лирики. Год за годом, до глубокой старости, до самой смерти посвящал он ей сияющее созвездие своих дивных стихов.

*Где ты? Ужель, ошеломленный,
Вокруг не видя ничего,*

*Застывший, вьюгой убеленный,
Стучусь у сердца твоего?..*

(«Прости!..», 1888)

Мария была племянницей М. И. Петковича, дочерью отставного кавалерийского генерала сербского происхождения К. Лазича — сподвижника Суворова и Багратиона. Отставной генерал был небогат и обременен семейством. Мария — его дочь — была бесприданницей, разделявшей все хозяйственные хлопоты и воспитательные заботы отца. К моменту знакомства с Фетом ей было 24 года, ему — 28 лет. Поэт безошибочно признал в ней родственную душу. «Я ждал женщины, которая поймет меня, — и дождался ее», — писал он своему другу

Ивану Петровичу Борису, с которым вместе провел детство в Орловской губернии.

Девушка была великолепно образованной, литературно и музыкально одаренной. «Поэзия и музыка не только родственны, но нераздельны», — считал Фет. Мария Лазич вполне разделяла его убеждения. Оказалось, что она еще с ранней юности полюбила фетовские стихи, знала их все наизусть. Фет, вспоминая первые моменты общения с Лазич, писал: «Ничто не сближает так, как искусство, вообще — поэзия в широком смысле слова. Такое задушевное сближение само по себе поэзия. Люди становятся чутки и понимают то, для полного объяснения чего никаких слов недостаточно».

Однажды, сидя в гостиной у Марии, поэт перелистывал ее альбом. В то время все барышни и дамы имели подобные альбомы: записывали в них любимые стихи, помещали рисунки, просили писать и рисовать своих подруг и знакомых.

Изящное стихотворение оставил уже семидесятилетний Фет в альбоме Н. Я. Полонской — дочери своего друга-поэта Я. П. Полонского:

*Стихи мои в ряду других
Прочтут ли бархатные глаза,
Но появиться рад мой стих
Там, где кругом цветы и краски.
Желать вам счастья я готов,
Но в чем придет оно, не знаю;
Ни юных роз, ни мотыльков,
Хоть им дивлюсь, не поучаю.*
(«В альбом Н. Я. Полонской», 20 июня 1890)

И в девичьем альбоме Марии было все как обычно. Но вдруг одна необыкновенная страница приковала внимание Фета: он прочел прощальные слова, увидел нотные знаки и под ними подпись — Ференц Лист.

Знаменитый композитор и пианист гастролировал в России ровно за год до встречи Марии с Фетом — летом и осенью 1847 года. Побывал Лист и в Елисаветграде, где познакомился с Марией Лазич. Она не пропускала его концертов, он бывал у нее в гостях, слушал игру девушки на рояле и высоко оценил ее замечательные способности к музыке. Вспыхнуло ли между ними взаимное чувство, или запись, которую Ференц Лист оставил в альбоме Марии перед отъездом, была просто знаком дружеской симпатии? Кто узнает, кто скажет? Однако нельзя было не заметить, что в словах прощания сквозила неподдельная боль предстоящей разлуки, а мелодия «необыкновенной задушев-

ной красоты», сочиненная композитором для Марии, дышала страстью и нежностью.

Возможно, Фет ощутил укол ревности, но болезненное чувство прошло, когда он услышал музыку Листа в исполнении своей возлюбленной. «Мне отраднo было узнать, что <...> Лист умел оценить ее виртуозность и поэтическое настроение. <...> Сколько раз я просил Елену повторить для меня на рояле эту удивительную фразу!» — вспоминал поэт. Этой мелодией, встречей и прощанием Марии Лазич и Ференца Листа навеяны фетовские стихи, которые раздвигают границы поэзии и переходят в область музыки, в миры запредельные:

*Какие-то носятся звуки
И льнут к моему изголовью.
Полны они томной разлуки,
Дрожат небывалой любовью.
Казалось бы, что ж? Отзвучала
Последняя нежная ласка,
По улице пыль пробежала,
Почтовая скрылась коляска...
И только... Но песня разлуки
Несбыточной дразнит любовью,
И носятся светлые звуки
И льнут к моему изголовью.
(«Какие-то носятся звуки...», <1853>)*

Главным «полем сближения», по признанию Фета, послужила для молодых людей французская писательница Жорж Санд, в романах которой были показаны «совершенно новые, небывалые отношения влюбленных»: «Изложение личных впечатлений при прочтении каждого нового ее романа приводило к взаимной проверке ощущений и к нескончаемым их объяснениям. Только после некоторого продолжительного знакомства с m-lle Hellene, как я ее называл, я узнал, что она почти с детства любила мои стихотворения. Не подлежало сомнению, что она давно поняла задушевный трепет, с каким я вступал в симпатичную ее атмосферу...»

За вечер молодые люди не успевали надышаться, наглядеться друг на друга, наговориться и засиживались вдвоем далеко за полночь: «Бывало, все разойдутся по своим местам, и время уже за полночь, а мы при тусклом свете цветного фонаря продолжаем сидеть в алькове на диване. Никогда мы не проговаривались о наших взаимных чувствах».

*От огней, от толпы беспощадной
Незаметно бежали мы прочь;*

*Лишь вдвоем мы в тени здесь
прохладной,
Третья с нами — лазурная ночь.
Сердце робкое бьется тревожно,
Жаждет счастье и дать,
и хранить;
От людей утаиться возможно,
Но от звезд ничего не сокрыть.
И безмолвна, кротка, серебриста
Эта полночь за дымкой сквозной,
Видит только что вечно и чисто,
Что навеяно ею самой.*

(«От огней, от толпы беспощадной...», 1889)

Мария не уставала благодарить Бога за посланную ей встречу с Фетом. И все же не понимала, отчего утонченный поэт, университетски образованный человек выбрал военную службу, которая, как догадывалась девушка, была для него столь обременительна. Возможно, она прямо спросила об этом Фета. А он, греясь у камина в ненастный вечер, поежился, точно от холода, и ответил не сразу.

В самом деле, такой вопрос мог бы задеть поэта за живое, затронуть самое важное в его судьбе и потребовать сокровенных признаний. Может быть, эти признания были сделаны, и Фет, преодолевая страдание, поведал девушке непростую, во многом загадочную, романтическую и в то же время мучительную историю своей семьи, во круг которой гнездились столько легенд, домыслов, слухов.

Его мать — молоденькая миловидная немка Шарлотта Фет (Foeth) — сначала проживала в Дармштадте и была замужем за чиновником городского суда Иоганном-Петером Фетом. Супруги имели годовалую дочь Каролину, но Шарлотта не чувствовала себя счастливой в браке. Муж обращался с ней грубо, предпочитал проводить время за кружкой пива с приятелями, а не у семейного очага. Ее душа томилась и ждала избавления. И вот в начале 1820 года появился он — чужеземец, обходительный богатый русский дворянин Афанасий Неофитович Шеншин. Потомок древнего прославленного рода, ведущего свою историю с XV столетия, мценский помещик и уездный предводитель дворянства, бывший офицер, участник боевых действий против Наполеона, он приехал поправить здоровье в Германию на воды. Дармштадская гостиница оказалась переполненной, и ее хозяин поместил нового постояльца в доме своего соседа — Карла Беккера, отца Шарлотты Фет.

И пусть знатный русский дворянин был более чем двадцатью годами старше, она увидела в нем своего героя, о котором грезила еще в девических мечтах. Вспышка страсти опалила, ослепила обоих: два-

дцатидвухлетняя Шарлотта забыла об обязанностях матери и жены и сбежала в Россию со своим новым почти пятидесятилетним возлюбленным, оставив маленькую дочь на попечение Фету. К тому времени Шарлотта уже ждала второго ребенка, но не догадывалась, что в будущем причинит столько страданий своему еще не родившемуся сыну.

Похищая чужую жену из Германии, Афанасий Шеншин оставил ее отцу письмо с просьбой простить и благословить их союз. Карл Беккер благословения не дал. В Орловскую губернию — в неизвестный дотоле немцу городок Мценск — полетел ответ, полный упреков и угроз: тайно бежавшие из Германии любовники совершили проступок, «который запрещают законы Божеские и человеческие, а христианская религия полагает в числе величайших грехов».

В Мценском уезде в имени Шеншина Новоселки у Шарлотты Фет родился сын, который был крещен по православному обряду и записан в метрической книге под именем Афанасий Шеншин. Лишь спустя два года после его рождения Шарлотта приняла православие, была наречена Елизаветой Петровной и повенчана с Афанасием Неофитовичем Шеншиным. Тот был для Фета на редкость заботливым отцом. Елизавета Петровна Шеншина писала брату в Германию, что муж так относится к маленькому Афанасию, что «никто не заметит, что это не кровный его ребенок».

И вдруг разразился гром среди ясного неба. Орловское епархиальное начальство, обнаружив, что мальчик был рожден до брака А. Н. Шеншина, постановило, что «означенного Афанасия сыном господина ротмистра Шеншина признать невозможно». Так, в 14 лет подросток стал отверженным, незаконнорожденным. Будущий поэт узнал, что отныне он не полноправный русский дворянин и не может называться Шеншиным, а должен носить фамилию человека, которого никогда в жизни не видел, и именоваться Афанасием Фетом «родом из иностранцев». С потерей знатного дворянского имени были утрачены все права состояния, наследования имущества и земли. Наступила социальная и имущественная неопределенность. В университете он числился как «студент из иностранцев». Даже подпись его стала такой: «К сему руку приложил иностранец Фет». Поэту Я. П. Полонскому — своему приятелю с университетских лет — Фет с горечью говорил: «Я два раза в жизни терял свое состояние, потерял даже имя, что дороже всякого состояния».

После окончания словесного отделения философского факультета Московского университета Фет блистательно начал свое поэтическое поприще. Он имел успех в литературных кругах, однако определенного места в обществе по-прежнему не было. Дворянский титул в те годы могла ему вернуть только военная служба: права потомственного дворянства давал первый обер-офицерский чин. И Фет принял решение поступить в кирасирский полк: на офицерский чин можно

было рассчитывать уже через полгода службы. В 1847 году по окончании университета поэт писал своему другу литератору Аполлону Григорьеву: «Ты звал меня часто в Петербург. Спрашивается, зачем? Затем, чтобы заниматься литературой? Не могу ни так, ни сяк — я человек без состояния и значения — мне нужно и то и другое, а на той дороге, которую я себе готовлю, будет, может быть, и то и другое. А поэзия? Да что же может мешать мне служить моему искусству, служить свободно и разумно?»

Но судьба словно насмеялась над ним. Император Николай I вскоре издал указ, согласно которому стать потомственным дворянином можно было, лишь дослужившись до старшего офицерского звания. Едва Фет приближался к заветной цели, новые царские указы повышали планку для получения дворянства. Для поэта это означало, что служить в армии и ждать ему придется еще лет 15—20.

Обо всем этом, наверное, он мог с затаенной болью говорить в тот далекий зимний вечер, сидя у огонька со своей возлюбленной.

*Шумела полночная вьюга
В лесной и глухой стороне.
Мы сели с ней друг подле друга,
Валезник свистал на огне.
И наших двух теней громады
Лежали на красном полу,
А в сердце ни искры отрады,
И нечем прогнать эту мглу!
Березы скрипят за стеною,
Сук ели трещит смоляной...
О друг мой, скажи, что с тобою?
Я знаю давно, что со мной!
(«Шумела полночная вьюга...», <1842>)*

Смутное предчувствие беды, мысль об отсутствии средств у них обоих омрачали влюбленность Фета. Его бедность доходила до такой степени, что поэт признавался: «Я очень хорошо знал, что в обществе невозможно появиться в мундире из толстого сукна. На вопрос мой, сколько будет стоить пара, портной запросил семьдесят рублей, тогда как у меня в кармане не было и семи».

Не зная, как ему поступить, и в надежде на дружеский совет Фет шлет письмо за письмом в мценское село Фатьяново другу своего детства Борисову: «Я встретил девушку — прекрасного дома и образования, я не искал ее, она — меня, но судьба... И мы узнали, что были бы очень счастливы после разных житейских бурь, если бы могли жить мирно <...> но для этого надобно как-либо и где-либо... Мои средства тебе известны, она тоже ничего не имеет». С другом поэт

всецело откровенен и искретен: «Я <...> встретил существо, которое люблю — и, что еще, глубоко уважаю <...> Но у ней ничего и у меня ничего — вот тема, которую я развиваю и вследствие которой я ни с места...»

Однако, как утопающий хватается за соломинку, поэт все еще надеялся, что брак можно будет устроить, если материальную поддержку окажут родные: «не могу выбросить из рук последнюю доску надежды и отдать жизнь без борьбы. Если я получал бы от брата <...> тысячу рублей в год, да от сестры — пятьсот, то я бы мог как-нибудь существовать». Финансовой помощи не последовало, дружеские советы также были бессильны: «Будь ты мудрейший от Соломона,— пишет Фет Борисову,— то и тогда ничего для меня не придумаешь».

Шаткие отношения раскачивались, захватывая дух, от отчаяния к надежде. То взмывали к небесам, то срывались в бездну, словно на опасных качелях.

*И опять в полусвете ночном
Средь веревок, натянутых туго,
На доске этой шаткой вдвоем
Мы стоим и бросаем друг друга.
И чем ближе в вершине лесной,
Чем страшнее стоять
и держаться,
Тем отрадней взлетать
над землей
И одним к небесам
приближаться.
Правда, это игра, и притом
Может выйти игра роковая,
Но и жизнью играть нам
вдвоем —
Это счастье, моя дорогая!
(«На качелях», 1890)*

Пролетели почти два года со дня знакомства Марии Лазич и Фета. На него привыкли смотреть как на жениха, а предложения руки и сердца все не было. Поползли сплетни и слухи, кривотолки и недоумения. Родственники девушки пытались вынудить Фета объясниться по поводу его намерений в отношениях с Марией. Перед отправкой в военный поход поэт снова пишет в Орловскую губернию другу: «Эх, Ваня! Пойду в поход — себя не жаль, потому что черт же во мне, а жаль прекрасного создания... Ваня, плохо, голубчик! Дальше этого восклицания пойти не умею».

Отчаявшись, Фет решил «разом сжечь корабли взаимных надежд»: «Я ясно понимаю, что жениться офицеру, получающему 300 руб., без дому, на девушке без состояния значит необдуманно и недобросовестно брать на себя клятвенное обещание, которого не в состоянии выполнить»; «я собрался с духом и высказал громко свои мысли касательно того, насколько считал для себя брак невозможным и эгоистичным». Помертвевшая от этих холодных рассудочных слов Мария ничего возразить не смогла.

*Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок,
Пред скамьей ты чертила блестящий песок,
Я мечтам золотым отдавался вполне, —
Ничего ты на все не ответила мне.
Я давно угадал, что мы сердцем родня,
Что ты счастье свое отдала за меня,
Я рвался, я твердил о не нашей вине, —
Ничего ты на все не ответила мне.
Я молил, повторял, что нельзя нам любить,
Что минувшие дни мы должны позабыть,
Что в грядущем цветут все права красоты, —
Мне и тут ничего не ответила ты.*

(«Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок...», <1885>)

Такая же щемящая, безнадежная боль, льдистый холодок сквозь сердце — в фетовских прощальных стихах.

*Прости! Во мгле воспоминанья
Все вечер помню я один, —
Тебя одну среди молчанья
И твой пылающий камин. <...>*

*Что за раздумие у цели?
Куда безумство завлекло?
В какие дебри и метели
Я уносил твоё тепло? («Прости!», 1888)*

«Я не женюсь на Лазич,— категорически заявляет Фет в письме к Борисову от 1 июля 1850 года,— и она это знает, а между тем умоляет не прерывать наших отношений, она передо мной — чище снега. Прервать — неделикатно и не прервать — неделикатно <...> Этот несчастный гордиев узел любви, который чем более распутываю, тем туже затягиваю, а разрубить мечом — не имею духа и сил... Знаешь, втянулся в службу, а другое все только томит, как кошмар».

Но даже в самых страшных снах Фет не мог предположить, что это было только преддверие кошмара. Он резал по живому, сжигал все мосты, когда решился на окончательный разрыв с Марией. Встречи прекратились. Ее мольбы в письмах оставались без ответа.

Наступила весна 1850 года. Вновь расцветала и пробуждалась к жизни природа. Как писал Тургенев, впоследствии — сосед по имени и близкий друг Фета: «Опять повеяло с неба сияющим счастьем весны; опять улыбнулась она земле и людям; опять под ее лаской все зацвело, полюбило и запело».

Но Мария Лазич, покинутая любимым, ощущала себя словно в ледяной пустыне. Где искать человеческого тепла и участия? Как согреться в пронизывающем душу мертвящем холоде? Может быть, долго, не отрываясь, смотрела она, как теплится огонек лампы. Трепетные бабочки слетались на пламя и, опалив живой бархат крыльев, обгоревшие, падали замертво вниз...

А что, если бы и ей разом прекратить все страдания?.. Открытый огонь перекинулся на белое кисейное платье Марии, языки пламени побежали вверх к ее распущенным смоляным волосам. Охваченная пламенем, она выбежала из комнаты в сад и под струей свежего воздуха мгновенно превратилась в пылающий живой факел. Сгорая, она кричала: «*Au nom du ciel sauvez les lettres!*» («Во имя Неба спасите письма!»). Еще четверо суток длились ее мучения, но всякая медицинская помощь была напрасной. «Можно ли на кресте страдать более, чем я?» — шелестели ее обгоревшие губы. И перед самой смертью Мария успела прошептать последние слова, во многом загадочные, но в них она посылала прощение любимому человеку: «Он не виноват,— а я...».

Фет, потрясенный этим трагическим известием, не простил себя до конца своих дней: «Я виноват; я не взял в расчет женской природы и полагал, что сердце женщины, так ясно понимающей неумолимые условия жизни, способно покориться обстоятельствам. Не думаю, чтобы самая томительная скорбь в настоящем давала нам право идти к неизбежному горю всей остальной жизни».

*Страницы милые опять персты раскрыли;
Я снова умилен и трепетать готов,
Чтоб ветер иль рука чужая не сронили
Засохших, одному мне ведомых цветов.
<...>*

*Но ими дорожит мое воспоминанье;
Без них все прошлое — один жестокий бред,
Без них — один укор, без них — одно терзанье,
И нет прощенья, и примиренья нет!*

(«Страницы милые опять персты раскрыли», 1884)

С опочившей я глаз был не в силах отвесть —

Всю погасшую тайну хотел я прочесть.

И лица твоего мне простили ль черты? —

Ничего, ничего не ответила ты!

(«Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок...», <1885>)

Фет стал прославленным поэтом. Планируя дальнейшую жизнь: «Итак, мой идеальный мир разрушен давно. Что ж прикажете делать. Служить вечным адъютантом — хуже самого худа — ищущую хозяйку, с которой буду жить, не понимая друг друга», — он вышел в отставку, так и не дослужившись до желанного дворянства, и женился на богатой купеческой дочери с большим приданым — Марии Петровне Боткиной. Она была не очень молодой и не очень красивой, также пережила в юности тяжелый роман.

Устроилась материальная сторона жизни: «Тогда я был бедняком-офицером, полковым адъютантом, а теперь, слава Богу, орловский, курский и воронежский помещик, коннозаводчик и живу в прекрасном имении с великолепной усадьбой и парком. Все это приобрел усиленным трудом, а не мошенничеством, и на этот счет я покоен». В Мценском уезде Орловской губернии Фет был избран мировым судьей и десять лет старался по-христиански вершить чужие судьбы, будучи убежденным, что «Христианство является, бесспорно, высшим выражением человеческой нравственности и основано на трех главных деятелях: вере, надежде и любви. Первыми двумя оно обладает наравне с прочими религиями. Нет религии без веры и надежды; зато любовь — исключительный дар христианства, и только ею Галилеянин победил весь мир».

Наконец, в 1873 году Фет получил долгожданное дворянство, право носить фамилию Шеншин, все сословные привилегии. Государь позволил ему принять «фамилию ротмистра Афанасия Неофитовича Шеншина и вступить во все права и преимущества его по роду и наследию».

Но в поэзии он остался Фетом. В сердце прожившего жизнь поэта, не угасая более четырех десятилетий, жарко пылал огонь его юношеской любви. Образ любимой девушки продолжал жить в сердце и памяти, воскресал перед глазами точно въявь:

Вчера я шел по зале освещенной,

Где так давно встречались мы

с тобой.

Ты здесь опять! Безмолвный

и смущенный,

Невольно я поникнул головой.

И в темноте тревожного

сознания

Былые дни я различал едва,
Когда шептал безумные желанья
И говорил безумные слова.
Знакомыми напевами томимый,
Стою. В глазах движенье
и цветы —
И кажется, летя под звук
любимый,
Ты прошептала кротко:
«Что же ты?»
И звуки те ж, и те ж
благоуханья,
И чувствую — пылает голова,
И я шепчу безумные желанья
И лепечу безумные слова.
(«Вчера я шел по зале освещенной...», <1858>)

И в преклонном возрасте Фет продолжал создавать шедевры любовной лирики потрясающей глубины и силы чувства. Я. П. Полонский писал 25 октября 1890 года семидесятилетнему поэту: «Что ты за существо — не постигаю, ну, скажи ради Бога и всех ангелов Его <...> откуда у тебя берутся такие елейно-чистые, такие возвышенно-идеальные, такие юношески-благоговейные стихотворения, как «Упреком, жалостью внушенным...» Я по своей натуре более идеалист и даже фантазер, чем ты, но разве я или мое нутро может создать такой гимн неземной красоте, да еще в старости!...».

Такие же «юношески-благоговейные стихотворения» рождались у Фета в последний год его жизни: «стихи, написанные им в 1892 году, в благоуханности и свежести не уступают прежним: фетовский гений сохранил свой первозданный блеск до последнего вздоха», — так современник поэта Б. А. Садовский выразил всеобщее изумление поздней лирикой Фета.

Точно в нежном дыханье травы и цветов
С ароматом знакомым доносится зов,
И как будто вот-вот кто-то милый опять
О восторге свиданья готов прошептать.
(«Ночь лазурная смотрит на скошенный луг...», 12 июня 1892)

Незадолго до смерти — выхода в последние двери — в преддверии Божьего суда, Афанасий Фет писал, обращаясь к Марии Лазич — своему «второму я»:

*У любви есть слова, те слова не умрут.
Нас с тобой ожидает особенный суд;
Он сумеет нас сразу в толпе различить,
И мы вместе придем, нас нельзя разлучить!* («Alter ego»)

К жизни, любви и творчеству поэта нельзя подходить с обывательскими земными мерками. Примем во внимание лесковское размышление о «высокой правде» Божьего суда: «совершится над всяким усопшим суд нелицеприятный и праведный, по такой высокой правде, о которой мы при здешнем разуме понятия не имеем».

А мы, сегодняшние читатели, воздадим Афанасию Афанасиевичу Фету нашу благодарную память за воспетую в его поэзии песнь вечной любви и нетленной красоты.

*Я знаю, иногда в апреле
Зима неожиданно набежит,
И дуновение метели
Колючим снегом закружит.
Но миг один — и солнцем вешним
Согреет юные поля,
И счастьем светлым и нездешним
Дохнет воскресшая земля.*
(«Когда смущенный умолкаю...», 26 марта 1892)

